ОН ПОЛАГАЛ, ЧТО СТИХИ – ТОЖЕ МАШИНЫ...

По прочтении книги Валерии Белоноговой «Утренний человек Даниил Хармс» . Н. Новгород: ДЕКОМ, 2020

Книга Валерии Белоноговой «Утренний человек Даниил Хармс», вышедшая в издательстве ДЕКОМ – легко и интересно написанный, контекстуально насыщенный очерк жизни и творчества одного из самых странных и мифологизированных поэтов первой половины
XX века в России.

Большинство сегодняшних читателей, исключая совсем юное поколение, знает Хармса как детского поэта, стихи которого читала и пела на все лады знаменитая в 70-е годы всесоюзная передача «Радионяня».

Моё поколение филологов, например, имеет некое представление, – очень конспективно, по краткому упоминанию объединения ОБЭРИУ в университетском курсе среди пёстрой картины литературной жизни России 20–30-х гг. двадцатого века.

Кроме того, вспоминаются диковатые абсурдные спектакли по Хармсу в оживлённой театральной жизни конца 80-х, – я видела «Елизавету Бам» в одной из студий в Москве.

Чисто нижегородское явление – прообраз будущих фанфиков – «хармсинки» Вадима Демидова появились тоже во второй половине 80-х, добавив мифологизма, но не ясности. Творчество Хармса и память о нём клубились туманами абсурда и каких-то тревожных недоговоренностей.

Несмотря на некоторое знакомство с контекстом жизни героя, для меня книга Валерии Белоноговой стала открытием личности и судьбы Даниила Хармса (Ювачёва), а также его отца – Ивана Ювачёва, – народовольца, политкаторжанина, в поздние годы – религиозно-мистического писателя, «толстовца», в советское время сотрудника Красного Креста, – на эксцентричного сына совсем не похожего.

Утренний ли человек Даниил Хармс – для меня лично большой вопрос и очень спорное утверждение, но я как читатель доверилась автору и попробовала посмотреть на героя под её углом зрения. Для Валерии Белоноговой импульсом именно к такому – безусловному, любовному –
приятию Хармса послужил давний студенческий вечер на Петербургской стороне с Александром Мирзаяном, его прочтение и рассказ о поэте. Автор говорит об этом во вступлении.

Камертон восприятия для читателя/слушателя очень часто задаёт первый, кто озвучивает, читает поэта вслух, отбрасывая на происходящее сильный отсвет своей личности, и я вполне понимаю, что Мирзаян может очень сильно интеллектуально облагородить и повлиять на восприятие.

Мои детские и юношеские недоумения по поводу Хармса были далеко в прошлом, и я с интересом открыла книгу и прочитала её. Но – камертон был свой.

Если о книге в целом, – то, пожалуй, – ключом её прочтения послужил рукописный текст Хармса (эпиграф? – на форзаце... впрочем, повторенный и в конце, значит, скорее, рефрен, настойчивое предупреждение). Благодаря дизайнерской концепции книги он воспроизведен с фотодокументальной точностью: на обшарпанной двери кнопкой прикреплён листок, на нём собственной рукой героя начертано: «У меня срочная работа. Я дома, но никого не прин**е**маю (орфография Хармса, выделено мной*. – М.К.*). И даже не разговариваю через дверь...»

Для меня здесь, на первой же странице, ещё до вступления в авторский текст, сразу определились две вещи: Даниил Ювачёв-Хармс *–* демонстративный социопат, это первое.

И второе, очень важное: ошибка в корне слова. У Хармса, оказывается, нет глубокого корневого слуха в русском языке, который, по сути, и есть природный талант, языковой поэтический дар. У него присутствует дар версификации и очевидный музыкальный слух, – чему вполне справедливо посвящена добрая половина книги, но это другое.

Если для вас вывод мой категоричен, не очевиден и кажется случайностью, откройте следующий фотофрагмент его рукописей, например стр. 93, – и вы увидите «здраствуй здраствуй Грузия».

И речь не о знаках препинания (это совсем другая история), а именно о корневой грамотности, о чувстве слова, сразу проникающем в суть, в корень.

Неслучайно гениальный Маршак его редактировал до полного переписывания, а тот не возражал – «считая Маршака одним из своих учителей в детской литературе».

Вполне допускаю, что с детства герой англоман, а впоследствии – германофил. Английским он в детстве занимался с удовольствием, а немецкий якобы знал в совершенстве. Но что с того? С русским у него были серьёзные проблемы, и это, на мой взгляд, важнее.

«Властность» считает он важнейшим свойством писателя. На карандашном автопортрете, датированном 1924 годом (стр. 55), он странно напоминает Гитлера. Сам он в это время только поступил в Ленинградский электротехникум, который не окончил. Потом посещает
искусствоведческие курсы при Государственном институте искусств. Слушает Эйхенбаума, Тынянова, Григория Козинцева, общается с Казимиром Малевичем. Ему вообще изначально очень повезло в жизни –
чудесные родители, талантливые друзья, понимающие редакторы…

Он всегда, точнее, долгое время мог позволить и позволял себе разные эксцентричные странности на сцене и в жизни, которые многим (но далеко не всем) казались милыми и оригинальными. Игра, игра, как можно больше игры!

Можно называть это театральностью, театрализацией. По зрелом размышлении я склонна называть это нравственным инфантилизмом. Декларируемая нелюбовь к детям и старикам. Особая любовь к машинам – он называл этим словом любую, даже вполне бессмысленную и алогичную конструкцию.

И полагал, что стихи – тоже машины. «…Пока известно мне четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и заговоры...» (из записных книжек и тетрадей 1931 года).

В книге, которую я держу в руках, нельзя не отметить своего рода дизайнерскую режиссуру – изобретательное и насыщенное художественное оформление Д.В. Жезляева. Она представляет собой род творческой партитуры – яркий экскурс в искусство и атмосферу Ленинграда 1920–1930-х годов.

Там и редакция «Ежа» и «Чижа» с их обитателями и странными нравами, и великие – Маршак, Чуковский, Шостакович в человеческом приближении, и музыка – из трёх развёрнутых глав книги третья, последняя полностью посвящена музыке в жизни Хармса.

Фотопортреты, афиши, стихи и документы соседствуют с рукописями и рисунками главного героя, одно переходит в другое. Коллажами нас не удивить, но масштабирование и указатели-руки, персты указующие – очень своеобразны. Границы визуального и текстуального размыты. Мы погружаемся в поток воспоминаний о человеке, в котором столько же «рацио», сколько «иррацио», – и пробуем его осмыслить. Иллюстрации, текст – всё резонирует и взаимонаправляет друг друга.

Эпоха в лицах, – молодые Евгений Шварц, Николай Заболоцкий, Велимир Хлебников, Александр Введенский, Владимир Татлин, Дмитрий Шостакович – хорошо знавшие Хармса, в портретах – драгоценнейший контент судьбы и книги.

В 1928 году к вечеру «Три левых часа» им была написана пьеса «Елизавета Бам», в центре которой арест за преступление (убийство), –
о котором преступница не имеет ни малейшего понятия. Публика реагирует неоднозначно, но творческий коллектив переживает «минуту славы».

В 1931 году Хармс арестован по подозрению в деятельности антисоветской группировки литераторов, в 1932-м – как «организатор и идеолог» приговорен к 3 годам заключения по 58-й статье УК РСФСР.

Отец «отмолил» его во всех смыслах: ссылка закончилась через полгода, ему разрешили вернуться в Ленинград.

«Последние рассказы и случаи Хармса конца тридцатых годов и вовсе будут полны ничем не объяснимой, чуть ли не параноидальной жестокости, иногда уже совсем не смешной...» – здесь цитирую по книге «Утренний человек Даниил Хармс».

Далее он симулирует душевную болезнь: обложившись серьёзными книгами по психиатрии, изучил течение болезни шизофрении и её симптомы. Проявление страха перед людьми, навязчивые движения, повторение услышанного и так далее... Получает диагноз «шизофрения». После объявления о начале Великой Отечественной войны снова проходит медицинскую комиссию. Диагноз снова подтверждён. Получает свидетельство об освобождении от мобилизации и о второй группе инвалидности.

Страшные сны и предчувствия мучают его. Писательница Нина Гернет: «Последний раз я видела Даниила Ивановича в 1941 году, за два-три дня до войны. Мы сидели на крыше у окна моей мансарды. Он был как никогда серьезен и углублен в себя. “Уезжайте скорее. Уезжайте! – говорил он. – Война будет. Ленинград ждет судьба Ковентри”». Он очень хотел уехать сам, но плохо себе представлял, как это можно сделать.

Война была. Но у Ленинграда была другая судьба, Ленинград – не английский Ковентри, который немцы бомбардировками стёрли с лица земли.

«Ясновидение» – второе свойство настоящего писателя, определенное Хармсом, провело его через два ареста. Второй – летом 1941 года с обвинением: «контрреволюционно настроен, распространяет в своём окружении клеветнические и пораженческие настроения». В феврале 1942 года – в страшную блокадную зиму – Даниил Ювачёв-Хармс умер в тюремной больнице.

Писатели сами часто старательно и долго создают свой собственный образ, имидж, выбирают себе псевдонимы (Хармс – от английского harm –
вред, выбран ещё в детстве) и во многом выбирают путь.

Я долго думал об орлах

и понял многое:

орлы летают в облаках,

летают, никого не трогая.

Я понял, что живут орлы на скалах и в горах,

и дружат с водяными духами.

Я долго думал об орлах,

но спутал, кажется, их с мухами.

Это последнее стихотворение Хармса, 1939 год.

Выбор есть всегда, и у читателя, и у писателя. Орлы всё-таки отдельно, мухи – отдельно. Ошибки бывают у всех, особенно в детстве, но взросление неизбежно.